

Жорж Роденбах

**Мистические лилии
(сборник)**



Жорж Роденбах

Мистические лилии (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22559773

Аннотация

«Монастыри просыпаются рано, с зарею, вырисовываются среди северного тумана, который рассеивается, испаряется, точно бледный ладан. Белые и розовые, они уподобляются ангелам, в городах с высокими башнями вековой Фландрии.

Каждый из них составляет самостоятельный мир, на грани тех предместий, где дома редуют и одинокие каналы среди откосов лишены всяких отражений...»

Содержание

Пролог	4
Головные уборы	6
Сумерки в приемной	8
Свечи	19
Мистический сон	21
Псалмы	27
Сомнения	29
Цветы	46
Любовь к белому цветку	49
Священные изображения	56
Боязнь греха	59
Колокола	72

Жорж Роденбах

Мистические лилии (сборник)

Пролог

Монастыри просыпаются рано, с зарею, вырисовываются среди северного тумана, который рассеивается, испаряется, точно бледный ладан. Белые и розовые, они уподобляются ангелам, в городах с высокими башнями вековой Фландрии.

Каждый из них составляет самостоятельный мир, на грани тех предместий, где дома редуют и одинокие каналы среди откосов лишены всяких отражений...

Средневековый поселок! Сад девственниц! Готический уголок, переживший, если можно так сказать, Мемлинга или Квентина Метциза с его остроконечными крышами в форме митр из поблекших черепиц, оттенка древних покрывал, с большою широкою лужайкою и, над всем этим, – с фламандским небом, которое всегда кажется небом с картины...

Ах, как там чувствуешь себя далеким от всего, далеким от самого себя! Какой-то ягненок пасется на лужайке... Не есть ли это пасхальный Агнец? Головной убор монахини показался за отсвечивающими стеклами маленькой кельи, пе-

реходя от окна к окну... Не есть ли это полет тканей по пути к небу? А волнообразный дым, поднимающийся над тихими жилищами? Кажется, можно в нем угадать какой-нибудь текст, стирающуюся надпись, листок молитвы, говорящий свиток, точно филактерии на триптихах, в устах святых...

И какая тишина, ничем не нарушаемая, единодушная!..

Доносятся только слабые звуки, почти сливающиеся с безмолвием. Тихий, прерывистый колокольный звон, который раздается для того, чтобы внушить впечатление воскресного дня... Колокол – голос воскресенья! Он придает буднему дню воскресный оттенок.

Божественный покой монастырей! Восхитительная простота бегинок, тихих душ, подданных Бога, цветов, едва напоминающих женщин, лилий, скрытых под головными уборами, лилий, которые не прядут!.. О, мои сестры, мои истинные сестры, которых я избрал; ах! как отрадно говорить им: «моя сестра»! Если б я мог проникнуть в их душу, если б моя мечта увлекла их, и я стал бы для них вторым ангелом-хранителем!

Головные уборы

Что создает необъяснимое очарование бегинкам, в отличие от других монахинь, это, может быть, специальный, установленный для них, более скромный головной убор. В других орденах головные уборы отличаются напыщенным характером, широко разворачиваются, точно полет птиц. У бегинок уборы кажутся молчаливыми птичками, которые немного быют крыльями, тихо размахивая ими. Спокойные, они довольны и тем, что берегут в плену волосы.

Скромные, прямые головные уборы распространяются до конца шеи. Как удастся примитивным бегинкам с такою ловкостью рассчитать расстояние, складки, расположить верно полотно, настолько сильно накрахмаленное, что нельзя ошибиться, переделать в другой раз, сложить его в окончательном виде, – под страхом пожертвовать этою с самого начала смятою тканью. Но их пальцы очень опытны и правильно скалывают булавками промежутки.

Головные уборы, совсем оконченные, поэтому не имеют больше вида простого четырехугольника из полотна, который снова легко расправить; можно было бы подумать, что эта форма нераздельна с ними, составляет одно существо. Точно они родились так!

Эти головные уборы с их правильным колебанием справа налево придают красоту бегинкам и вполне достаточны для

того, чтобы сообщить их походке раскачивающееся движение.

Хорошее впечатление они производят, в особенности, своею покоряющей всех белизною. Эта белизна захватывает.

Даже лицо бегинок поддается ей, перестает быть румяным, бледнеет. Оно уподобляется головным уборам, которые являются только продолжением его; так и луна сливается с очертанием своего круга.

Доброе влияние головные уборы оказывают и на их душу. Они обесцвечивают в ней тщетные звуки мира, тесно при-мыкая к ушам, затуманивают слух, – правильно привязанные, совсем герметически закрывающиеся, точно фермуары девственности. Бегинки, столь же скрытые, почти не слышат жизни. Они слушают только тихое движение, точно дыхание, этой птички со сложенными крылышками, которая образует их головной убор и белизна которой заставляет их иногда думать, что это св. Дух в виде голубя спустился на головку каждой из них.

Сумерки в приемной

Часто в зимние вечера бегинки навещают друг друга под предлогом узнать о какой-нибудь службе или проповеди, посоветоваться насчет рисунка кружева, но на самом деле, чтобы вместе посидеть за небольшой любимой трапезой: они пьют кофе, едят тартинки из свежего хлеба, даже пирожки, а иногда случается, что к этому прибавляется маленький стаканчик вина, налитого из древнего кувшина, носящего на себе подлинный отпечаток голландского происхождения.

Сестра Пульхерия любила больше всех принимать таким образом некоторых своих подруг по обители. Проходя мимо окон с кисейными занавесками ее маленькой кельи, можно было часто видеть в сумерки несколько черных силуэтов, сидевших возле слабенького огонька, на котором стоял горячий кофе. Снаружи казался даже странным этот слабенький, колеблющийся огонек, свет в форме сердца, точно это было сердце дома.

Приглашенные бегинки сидели долго, привлекаемые нежным теплом камина, угли которого временами вспыхивали, освещая во мраке их лица, спокойные, как на портретах.

От этого огня было довольно светло; не надо было зажигать лампы, они сидели до позднего часа в эти нежные сумерки, причем наступающий мрак влиял и на их слова.

Сестра Пульхерия, очень разговорчивая, пользовавшаяся

репутацией хорошей рассказчицы, любившая, чтобы ее слушали, тоже поддавалась впечатлению мрака. Она была точно охвачена темнотою, и ее душа омрачалась. Окончились веселые истории, шалости пансионеров, смеющихся над какой-нибудь отсутствующей монахиней или над священником из общины. Вечер влил свой яд в нее и в других сестер, иногда еще беззаботных и смеявшихся. Среди них как бы расстилались траурные мысли, боязливые образы, креповые цветы.

Слова становились реже, каждая пауза между ними пугала, как пустота между ударами колокола. Сестра Пульхерия рассказывала теперь только о мрачных впечатлениях, предчувствиях, закрадывавшихся в ее душу перед каждым несчастьем, о подтверждении ее предчувствий, иногда даже снов.

Другие монахини в такие сумерки слушали, немного испуганные, ощущая приятный страх детей, которым рассказывают о путешествиях маленьких королей, потерявшихся в темном лесу...

Однажды в конце декабря было большое оживление за трапезой в келье сестры Пульхерии. Собралось много бегиннок, так что пришлось взять лишние стулья и подлить кипятку в кофейник. Причиной этому послужило представление сестре Пульхерии двух послушниц, недавно поступивших в обитель. Несколько старых монахинь сопровождали их. Поэтому устроилось целое празднество с пирожками и маслянистым вином.

Сестра Пульхерия, очень польщенная этим приходом, в котором чувствовалось общее уважение к ней, вдохновленная этою исключительною и многочисленною аудиторией, начала снова, точно по четкам, свои обычные рассказы. Она навела разговор на суеверные мысли – одну из ее любимых тем, – на панический страх, приходящий с той стороны жизни, тревогу которого она любила возбуждать.

Она чувствовала как бы страсть создавать ужас, подобно тому, как дети играют с огнем. Все находившиеся там бегинки были охвачены ее суеверным страхом, даже усиливали его.

Сестра Мария рассказывала о своем всегда подтверждавшемся страхе встретить похоронное шествие, не имея возможности, как можно скорей прикоснуться к какому-нибудь железному или медному предмету, например, к ключам. К счастью, у нее висит на груди небольшое медное распятие, до которого она скорее дотрагивается рукою, чтобы отдалить от себя дурную судьбу.

Сестра Корнелия напоминала, что увидеть утром паука – признак близкого огорчения. Это необыкновенное предупреждение никогда ее не обманывало. В такие зори, которые должны поблекнуть от дурной новости, чувствуется непонятное беспокойство. Точно надвигается гроза. Это напоминает сад в монастырской ограде перед грозою. Разве сад тоже имеет свои предчувствия? Листья на тополях трепещут, и эта дрожь передается от одного к другому... Наша душа

тоже кажется садом, который дрожит в такие утра. Она чувствует раньше нас катастрофу...

После слов сестры Корнелии все монахини желали вмешаться, рассказать свои чувства в области суеверных мыслей, указать какой-нибудь факт, подробности беспокойства, за которым последовало несчастное событие. Каждая бегинка, осмелившись, старалась присоединить, вставить свое доказательство, как лишнюю катушку в это черное кружево Страха, которое они сплетали все вместе в сумерки.

– А зеркала? – произнесла вдруг сестра Годелива своим чудным, точно фисгармония, голосом, который пел на клиросе в воскресенье, во время службы, – твердым, приятным, звучным, сливавшимся с фисгармонией настолько, что иногда, когда они чередовались, нельзя было различить, исполняла ли гимны фисгармония или женский голос... Сестра Годелива из-за ее исключительного голоса и ее мыслей, не похожих на мысли остальных монахинь, пользовалась уважением в общине. Она умела различать музыку. Она должна была уметь различать и судьбу!..

Поэтому, когда она прервала единодушную беседу, все замолчали.

– Зеркала внушают страх, – продолжала сестра Годелива. – Разбитое зеркало обозначает смерть, разрушение или еще худшие события. Когда я была еще ребенком, в доме моих родителей каждый раз, когда разбивалось зеркало, кто-нибудь умирал через некоторое время. Это происходило от-

того, что зеркала имеют душу, а когда разбивают их лишают таким образом души, изгоняют их душу, – то нужно, чтобы какая-нибудь душа этого дома явилась отплатою. Чего только нет в зеркалах! Когда разбивают их, можно найти тысячи отражений, образов в каждом обломке. Самый маленький кусочек зеркала полон всевозможных вещей.

Ничто не пропадает в них. Прежние, отразившиеся в них лица остаются. Мертвые находятся на глубине... Иногда и сам сатана живет в них.

Эти слова Годеливы, точно медленная мелодия, исполненная ее гармоническим голосом, произвели впечатление на всех монахинь. Долгое время, испуганные этою тайною вещью, которую они внезапно почувствовали почти физически, точно к ним прикоснулась судьба, они молчали, не смея двигаться на своих стульях, отведать хороший кофе, остывавший в их чашках...

Сестра Пульхерия воспользовалась молчанием, чтобы вмешаться в разговор. Она высказала мнение, что существуют более ясные, более частные предуведомления, чем пауки, похороны, зеркала. Более субъективное предзнаменование! У нее есть доказательство, – один эпизод из ее жизни, который она часто рассказывала, искусно усиливал ужас, внося волнение, которое много раз возобновлялось и все же было не менее искренно и заразительно.

Сестра Пульхерия начала свою излюбленную историю. Это было давно... Ей исполнилось тогда пятнадцать лет,

она была пансионеркою в урсулинском монастыре, в маленьком городке, находившемся недалеко от того города, где жили ее родители. Она проводила у них обыкновенно каникулы.

Однажды, в конце сентября, накануне ее возвращения и монастырь, ее отец повел ее в поле; он обещал ей провести с ней все послеобеденное время, гулять в поле и закончить прогулку ужином в кабачке предместья, где подавали ее любимую рыбу и вафли. Все подробности остались у нее к памяти, точно это было вчера. Чудный день! Ее отец был весел, нежен с ней.

Деревья осенью казались золотыми. Заход солнца был красив, совсем красный в глубине неба. Быстро темнело в эти короткие дни. Чтобы вернуться в город, они направились в небольшое селение, где проходила железная дорога, которая должна была привезти их через несколько минут.

Было темно. Она взяла отца под руку, уже достаточно высокая, чтобы не стараться подниматься к известной высоте.

Она гордилась, чувствуя себя почти маленькою женщиною. Вдруг, в конце пути, в темноте, они заметили небольшой, но живой, яркий, двигавшийся огонек. Затем показался другой. Она подумала сначала, что это – фонари кареты.

Но огоньки слишком расходились, тихо двигаясь. Затем вдруг показались еще огни, десятки огней, увеличивавшихся, двигавшихся отдельно, точно танец блуждающих огней на далекой, вечером безмолвной воде.

Это было фантастично. Ее охватил невольный страх. Она крепче прижалась к руке отца. Они продолжали идти на встречу огням. Те теперь приближались. Это было точно шествие кающихся, от которых виднелись только свечи, так как их черные одежды, оттенка ночи, сливались с ней.

Эти огоньки, точно звезды, приводили к массе, темной, более мрачной, чем самая ночь, – которая быстро вырисовывалась. Это была деревенская церковь, стоявшая очень высоко над скоплением домов. Они поняли тогда, что эти огни были светильниками из процессии, в руках мальчиков из хора, прихожан, сопровождавших Св. Дары. Они ходили производить соборование, носили предсмертное причастие какому-то умирающему, исполнив по всем правилам этот обычай, всегда наблюдаемый в фламандских деревнях. Теперь процессия возвращалась в церковь, рассеиваясь по могилам, неровному, окружающему церковь кладбищу...

Это печальное появление было наверное предупреждением судьбы, признаком другого близкого предсмертного помазания! Сестра Пульхерия не обратила на это внимания, так как была очень молода. Она помнила только, что ее отец с этой минуты сделался молчаливым, задумчивым во все остальное время прогулки и вечера, пока она не рассталась с ним перед сном. Может быть, он понял и в эту минуту подумал о смерти, о своей смерти!..

Во всяком случае это была последняя прогулка, которую они совершили вместе. Почти в последний раз тогда она ви-

дела его; спустя месяц он скончался, проболев два дня.

Она едва успела приехать вовремя, чтобы застать его умирающим на постели, совсем изменившимся, с неясным взором, смотревшим уже по ту сторону жизни...

Сестра Пульхерия закончила свой рассказ голосом, точно омоченным слезами. Несмотря на то, что она часто рассказывала об этом, и несмотря на такой долгий промежуток времени, она снова почувствовала детскую нежность, взволновалась от вызванного воспоминания, внимательного молчания монахинь, соответствия наступающего вечера, налагавшего точно черные покровы на ее слова.

Возле нее многие бегинки плакали, думая об отцах и матерях, которые тоже умерли.

Другие встали, под предлогом, что их ждут, быстро ушли, – в действительности, слишком взволнованные, чтобы оставаться дольше, боясь этих трагических историй, которые, разумеется, в ближайшую ночь вызовут кошмары, сны, где они увидят себя входящими в часовню и принужденными дотронуться до мертвеца, ледяной холод которого заставит их вскочить с постели.

После ухода некоторых монахинь разговор возобновился.

Одна бегинка, сестра Варнавия, не принадлежавшая к обычным посетительницам этой общины, пришедшая в этот день случайно, слушала в первый раз рассказ сестры Пульхерии и отнеслась немного недоверчиво. Розовая, полная, жизнерадостная, она не почувствовала общего страха и спокой-

НЫМ ГОЛОСОМ ВОЗРАЗИЛА:

– Вы, право, очень суеверны, сестра Пульхерия. Даже, если все это и правда, не думаете ли вы, что это скорее дело демона, который бродит вокруг нас и хочет нас смутить?

Сестра Пульхерия воскликнула:

– Нет! Это Бог предупреждает нас. Надо уметь слушать, надо уметь понимать Бога. Это происходит от доброты и милосердия Бога, желающего подготовить нас к несчастной или доброй смерти. Он не может и не хочет Сам предупредить нас, потому что мы недостойны чуда. Но предметы помогают Ему. Он руководит ими. Они являются Его соучастниками, слугами, и во имя Его они говорят с нами...

Сестра Варнавия не казалась убежденной и произнесла:

– Суеверие все же грех!

– Пускай, – отвечала сестра Пульхерия, – но что такое суеверие? Разве страх можно назвать суеверным, когда тринадцать садятся за стол? Наш Спаситель своим примером доказал, что это число приносит смерть... Не нужно ли самим понимать этот признак, когда случай показывает его?

Эти слова не вызвали возражения. Сестра Варнавия не настаивала. Наступило долгое молчанье. Они не заметили, что в комнате стало совсем темно, так как уголья в камине погасли.

Бегинки мало-помалу затихли, охваченные беспокойством, ужасом от этих сверхъестественных соотношений между предметами, от ощущения тайны и всего невидимого,

разлитого кругом, выраженного устами безмолвия.

Одна только сестра Мария попробовала вставить: «Нас было много сегодня. Сколько было всех?» Ни одна не ответила. Однако все подумали об этом; все думали одно и то же в течение долгого времени, с той минуты, когда сестра Пульхерия вызвала в памяти погибель от дурной цифры, предсказание смерти тем, кто находится в числе тринадцати.

Что если за едой их было тринадцать? Может быть, их было тринадцать? Каждая мысленно считала, называла по именам присутствовавших монахинь: сестра Пульхерия, сестра Годелива, сестра Моника, сестра Корнелия, сестра Мария; затем – две послушницы, затем те, которые ушли раньше.

Но число сбивалось: получалось то двенадцать, то четырнадцать, наконец, – тринадцать. Кого они забыли? Кого сочли два раза? Как узнать? Как лукавый демон играл с ними, скрывал истину! Ни одна не осмелилась прервать молчание, громко произнести вопрос, – как ни одна не осмелилась попросить сестру Пульхерию, наконец, зажечь лампу, успокоить их светом.

К счастью, показалась луна, освещающая комнату, удаляя темноту по углам, очищая тюлевые занавески на окнах, казавшиеся дорогами из цветов по прямой линии к луне.

Вдруг сестра Годелива воскликнула: «Взгляните на луну! Какая она странная! Точно голова умершего...» На небе, решительно, в этот вечер были заметны какие-то признаки; в комнате были разлиты в воздухе предчувствия. Напрасно

было столько толковать о зеркалах, похоронах, пауках, о всех вестниках Несчастья...

Отныне бегинки, точно их было тринадцать на самом деле, оставались серьезными, неподвижными, боясь умереть, ничего не говоря, как бы чувствуя невозможность бороться своими голосами с мраком...

Свечи

Бегинки любят восковые свечи, красивое, полное церковное освещение во время служб.

В праздники им приносят восторженную радость многочисленные свечи в церкви, точно геометрическое расположение звезд. Они создают колебание, нежное трепетание в их глазах, в которых свет переливается ровными гранями.

В течение мая, месяца св. Девы Марии, они восторгаются многочисленными свечами, благодаря бесконечным жертвованиям; свечами, точно из мрамора, постепенное угасание которых отличается тихим характером.

Затем какое волнение ощущают они один раз в году, когда они получают возможность видеть пасхальную свечу, украшенную голубою краскою и золотом, точно татуированную или как бы расшитую золотом столь тонко, что ее горящий кончик кажется вдруг окровавленным. Можно было бы подумать, что это Копье, нанесшее Рану в ребро. А кругом, в церкви, небольшие свечи, тоже истекающие кровью, точно Раны на ногах и руках, точно красные капли на челе, уязвленном терновником. Божественные капли, которыми глаза бегинок утоляют свою жажду!

Таким образом, свечи всегда порождают собою идеи об очищении, искуплении. Они соглашаются страдать. Бог принимает их жертву, как искупление грехов. Вот почему

во всех церквях воздвигнут светильник из кованого железа, Голгофа, где беспрестанно совершается символическое страдание свечей.

Бегинки, в особенности, любят зажигать эти искупительные свечи. Они ставят их в церкви своей общины, затем они направляются иногда далеко, в какой-нибудь отдаленный приход, чтобы найти там свечи по своему выбору. Они ищут долго в ящиках, где свечи ждут своей очереди пострадать. Существуют свечи всякой длины, всех цветов: белые, похожие на очищенные от кожи тростники, сердцевина которых обнажена; другие синеватые, третьи голубые, точно поддавшиеся влиянию глаз, устремленных на них и колебавшихся при выборе.

Бегинки почерпают в этих благочестивых жертвах детское удовольствие, не без тайного страха – только возбуждающего их радость – увидеть, как их свеча с трудом разгорается, дурно горит, представляет собою пламя, которое бездействует, едва не угасает, опускается горизонтально и почти достигает небытия. Но какая радость, если пламя поднимается, усиливается, закругляется в форме сердца! Эти беспокойные ожидания полны приятной тревоги, суеверного представления о маленьких, как бы нерешительных свечах, при помощи которых бегинки хотят узнать, угодны ли они Богу в этот день.

Мистический сон

Был канун Рождества. Полночная служба только что кончилась. В стенах монастыря цветные окна перестали наполнять образами темноту; орган замолкал, ночное безмолвие поглотило последние, как бы засыпавшие звуки колокола. Монахини, спеша, вышли из церкви и при резком ветре, срывавшем у них головной убор, молчаливо расходились по своим келиям, – напоминая торопливые движения лебедей, боящихся, как бы не остаться на замерзающем пруду и не стать пленниками своих крыльев, если бы эти крылья вдруг приросли ко льду...

Сестра Вальбурга вернулась одна из последних в свою комнату, предназначавшуюся для послушницы в монастыре Восьми Блаженств, крошечную, чистую комнатку, в которой виднелась ее постель с занавесками из бледно-лилового колленкора. В этот вечер она чувствовала себя немного грустной, неизвестно почему, и оставалась насколько возможно дольше в церкви, пока монахиня, заведующая ризницей, не погасила поочередно восковые свечи, точно срывая пламя с кончиков каждой свечи.

Можно было бы подумать, что она боялась остаться одна и вернуться в свою комнату. В первый раз, со дня ее поступления в монастырь, она чувствовала такую сильную меланхолию. Она сняла тяжелое покрывало, точно пеленавшее

ее голову, быстро разделась, чтобы лечь в постель, чувствуя озноб от этой сырой погоды, и немного – от состояния своей души, которая, казалось, тоже замерзала...

Она бросила на единственный стул свое черное платье, головной убор, поставила рядом свои башмаки, чувствуя некоторую грусть, тоску, которая, право, была простибельна; она вспомнила о том далеком времени, когда она ставила в этот вечер перед камином свои детские башмачки... От этого воспоминания она перешла к другим, более мирским сожалениям: о домашнем очаге, детях, семейной жизни. Она отреклась от всего этого. Она обвенчалась с Христом в грустном черном наряде. Но Христос находился далеко. Она любила его, как отсутствующего супруга, путешествующего по неизведанным морям. Она жила одна. Она чувствовала себя разлученной с ним. Она это испытала вдвойне в эту ночь, когда только один зимний ветер проникал в очаг и наполнял холодом, вместо подарков, ее сиротливые башмаки...

Так думала она, но благодатный сон мало-помалу охватывал ее, непрерывное биение ресниц заволакивало ее глаза, постепенно переставшие что-либо различать в одинокой комнате, в которую врвался сильный лунный свет, переливаясь, как перламутр.

Проникновение лунного света в комнату! Рассеивающийся мрак!

Где кончается действительность? Где начинаются грезы?
Вдруг молодой монахине, взоры которой долгое время

были с грустью устремлены на ее совсем черные, как бы траурные, башмаки, показалось, что они стали яснее, точно побледнели и очистились. Происходило ли это от луны, светившей в окно? Был ли это сон, или совершалось чудо? Вскоре они уже более не казались простыми, кожаными, черными, как ночь, и вследствие этого сливавшимися с ней, а светлыми, чистыми, как снег, сшитыми из белого шелка, точно серебряными, девическими, свадебными туфельками...

А на одиноком стуле обыкновенное платье монахини, — неужели и его нечаянно осветила луна? Был ли это сон или действительное чудо? Все черное и мрачное, оно начинало также белеть. С каждой минутой черная краска как бы сползала вдоль материи, стекала по полотнищам, исчезала в швах, собиралась в складках, затем незаметно скрывалась, точно выжатая и побежденная блеском белого цвета, изменившего юбку, корсаж, весь ее духовный наряд в чудесное платье со складками из толстого и матового шелка, платье непорочной невесты, которое ожидало того момента, когда она его наденет, сложенное, но величавое, истинно свадебное на залитом луною стуле...

Тогда сестра Вальбурга, как бы радостно принявшая божественное позволение, поднялась из своего алькова с бледно-лиловыми занавесками. Проснулась ли она вполне, или находилась немного в состоянии сомнамбулы и отдавалась иллюзии своей мечты?

Счастливая и красивая, она начала одеваться для неиз-

вестного супруга, которому предназначалось это брачное приданое. Она надела прежде всего чудные белые башмачки, продолжавшие блестеть в темноте, бледные и хорошо сидевшие на ее ногах, как парочка голубей. Затем она надела свое просторное муаровое платье, точно окутывавшее ее неподвижными глыбами снега и хорошо пристегивавшееся снежинками.

Когда она сделала несколько шагов, комната показалась ей серебряной, а позади нее образовалась тень. Можно было бы подумать, что ее юбка бушевала.

Это была теперь небесная новобрачная; для того, чтобы идти к алтарю, недоставало только кружевного вуаля, который оттенил бы немного ее лицо, слишком розовое, и соединил бы в один белый цвет последний день ее девственности.

По этой причине сестра Вальбурга приняла вдруг очень беспокойный и огорченный вид. Ее башмаки по божественной милости в эту чудесную ночь легко изменились в светлые шелковые туфельки; ее платье также приняло другой вид, так как не трудно было обратить мрачную материю в светлый шелк. Но где найдет лунный свет необходимую ткань для кружевного вуаля, без которого она не может отправиться в церковь, где должно быть совершено таинство?

Как возможна подобная забывчивость и как этому помочь?

Молодая монахиня была этим очень озабочена; поспешно она ходила по комнате, искала везде нежного, но столь суще-

ственного украшения. (Ах, вуаль! – предмет лихорадочных поисков, в последнюю минуту недостающий всегда и всем!).

Вдруг она вскрикнула и остановилась на месте, как бы пораженная прелестью столь прекрасного предмета, внезапно бросившегося ей в глаза: там, в большом окне, разрезанном лунным светом, висел между стеклами вуаль. Превосходный, тяжелый, вышитый вуаль, более пышный, чем вуаль Мадонны во время майских служб!

Чудесное кружево, какого она никогда не видала, какого не могут создать руки всех монахинь... целый искусственный цветник, состоящий из распустившихся в холодную весну неподвижных цветов...

Сестра Вальбурга подошла к нему с радостным волнением. Точно пробил час свадебной церемонии и она захотела сорвать кружево со стекла, снять нежный приготовленный вуаль, необходимое прибавление к ее брачной одежде...

Но нежная ткань противилась ее желанию; сколько она ни старалась уловить все изгибы кружев, чтобы обратить свои усилия на эту более прочную сторону вуаля, он не поддавался и казался приросшим к стеклу...

В беспокойстве и волнении она еще сильнее оттягивала, спрашивала себя, какие незаметные булавки, какие еще неразрезанные и нечаянно забытые нити, несмотря на все ее усилия, привязывали так крепко чудный кружевной вуаль к стеклу окон...

Напрасно! Ажурная ткань распускалась под ее пальцами,

в ней обнаруживались зияющие отверстия. Между тем монахиня непременно хотела притянуть к себе этот необыкновенный вуаль. В ее движении чувствовалось нетерпение, она волновалась с надеждою, которая быстро уничтожала все вышитые цветы, все вывязанные папоротники.

Тюль поддался в свою очередь, и весь вуаль, весь тонкий гипюр разорвался под твердостью ее ногтей.

Вдруг – зашла ли луна на утренней заре? был ли это конец сна или чуда? – сестра Вальбурга, пробудившись, очнулась в своей еще темной комнате, в то время как утренний колокол будил монахинь. Поспешно она надела свой мрачный наряд, зашнуровала свои черные башмаки, вспоминая все же о своем лучезарном сне и взглядывая, с неопределенною грустью, по направлению к окну – на кружевной вуаль из инея, покрывавший стекла.

Псалмы

В церкви, во время воскресных и праздничных служб, сестры общины занимают клирос. Они – неискусные певицы, отличаются только небольшими голосами, поют по инстинкту и по памяти, как маленькие дисканты в приходской церкви. Даже та из них, которая поет соло, не более их сведуща: каждая из ее нот сомневается сама в себе, дрожит, как капля воды, колеблется, как только что зажженная свеча. Гимн разворачивается наудачу, волнуется, парит, затихает, увеличивается без причины – всегда очень нерешительный! Большую прелесть заключает в себе эта хрупкость пения, столь непрочного, как стекло, и еще менее смелого оттого, что оно должно заключать в свою прозрачность неизвестный язык. Ах, серебристые латинские созвучия – Gloria и Angus Dei – какую болезненную нежность они получают в женских устах, облетая с них листочками, как цветы, названия которых им неизвестны!

К счастью, в церковном пении встречается унисон, хоровые псалмы, которыми боязливые певчие могут объединиться, поддержать друг друга. Тогда, в тиши церкви, единодушное пение вырабатывается, как нежное, тонкое кружево, воздушное, рожденное почти из обнаженного воздуха, точно чудо. Сестры как бы соединяют свои наивные ноты, располагают отдельные нити своих голосов на мрачном барха-

те органа. Каждая из них прибавляет свой цветок к общему плетению, работает над вокальным кружевом, которое изменяется с каждою нотою до тех пор, пока, наконец, на мрачном бархате органа не появится псалом в виде подлинного кружева.

Собравшиеся бегинки, на коленях у аналая, слушают. Чудесная музыка! Она захватывает их, убаюкивает, располагает к мистическим волнениям... Ах, эти голоса, столь мало принадлежащие устам, скрывающие их пол; эти голоса, нежные как вата, свежие, как вода фонтана, вкрадчивые, как ветер в деревьях, разносящийся под сводами церкви как ладан! Неужели это человеческие голоса? Разве это доносятся голоса сестер с клироса? Слишком нежное пение, более не принадлежащее земле... Бегинки закрывают глаза, отдаются экстазу... Это поют ангелы... И музыка нисходит к ним, как небесная сеть, захватывает их души и увлекает к Богу через серебристое море.

Сомнения

В одном Бегинаже древнего, маленького мертвого города Брюгге жила бегинка, потерявшая рассудок, в тихом помещательстве; ее держали в монастыре Св. Крови, потому что она была безобидна. Но из уважения к духовной одежде ей не позволяли больше одеваться, как монахине и даже как послушнице. Она ходила в светском платье; сестры оставляли ее в покое, немного наблюдали за ней. Она блуждала по коридорам, по саду, садилась в рабочей комнате, очень тихо, пока находился там только обыкновенный состав общины, который она смутно узнавала.

Ее странное безумие происходило от тоски по чистоте. Она почти всегда сидела, не смея двинуться, так как боялась смять свою одежду, запачкать ее, думая, что складка или пятно могут нарушить ее всегда чистое убранство. Присутствие чужого лица, близко находившегося около нее, внушало ей бесконечную тревогу. Она была еще молода, почти хорошенькая, с цветом лица белой азалии, с большими ласковыми глазами, но без выражения, как бы обнаженными, точно маленькие приемные, где никого нет...

Она всегда держала в руках платок – маленький четырехугольник из батиста и кружев – как это делают первые участницы, с такою же осторожностью и таким же тихим жестом.

Время от времени она дотрагивалась до себя этим сложенным платком, она точно что-то стряхивала с себя, желая сбросить невидимую упавшую на нее пылинку, молекулу безмолвия...

Что делало ее безумие еще более трагическим, придавало ему, несмотря на ее кротость, карикатурный и все же трагический вид, – это одна ненормальная подробность: она носила на голове кусок бумаги, сложенный, опущенный к вискам, подхваченный булавками у подбородка, расправленный на волосах в виде пойманной и жалобной птички. У нее образовался таким образом бедный бумажный головной убор, под которым безумная все же скрывала свои волосы; она постоянно поправляла их, поминутно очищала их, стряхивая своим платком возможную грязь, тонкую пылинку, бесконечно сыплющуюся из песочницы веков.

Прежде чем дойти до такого упадка, несчастная бегинка, по имени сестра Мария, была одною из самых примерных и умных сестер в Бегинаже, в этом нежном Бегинаже, где ей так хотелось всегда жить спокойною и чистою жизнью нению-фара, растущего на воде. Она напоминала его, ничто земное более не привлекало ее и не угрожало осквернить ее душу, напоминавшую венчик цветка. Она всецело принадлежала Богу, как и желала этого. Однако с самого рождения она чувствовала себя несчастной.

Счастье все же зависит от души человека. А сестра Мария с такою душою, какая у нее была, не могла быть счастлива

даже на небе. Бог не мог бы вполне утешить ее. Какая же душа была у нее? Ее душа была охвачена чем-то вроде болезни совести: вечными сомнениями.

А сомнения – это пытка духовной жизни. Кто сочтет все сомнения, более многочисленные, чем грехи, чем подразделения грехов? Неожиданно создавшееся поколение, вибрионы, беспредельно мелкие, все увеличивающиеся, как паразиты веры!.. Благочестие, доведенное до безумия; анализ, достигший бесконечной величины; мысленная язва, захватывавшая все чувства: зрение, слух, осязание, вкус, обоняние, проникавшая во все поры, с целью превратить существо, сознающее свой долг, только в несчастного горноста, который будет вменять себе в преступление даже тень проходящего облака.

Сестра Мария была несчастна. Сначала она чувствовала сомнения по поводу своего признания. Не потому, чтобы она жалела, что отдалась Богу. Но принял ли ее Бог? Не было ли невежеством с ее стороны, самонадеянностью, пагубным тщеславием – считать себя избранною и достойною поступления в монастырь? Может быть, она жила там, как незваная гостья, как иностранка, которой позволяют жить в доме, пока нет хозяина. Даже если предположить, что Господь, действительно, позвал ее, то в таком случае отвечает ли она Его милости? И здесь сомнения терзали ее.

Она не вполне выказывала себя усердной. Она не достаточно была чиста! Разумеется, она обдумывала свои жела-

ния, она не совершала смертных грехов, за ней не было ни одной постыдной вины, которую она едва знала по имени. Но прощительные грехи обильно наполняли ее душу: грехи зависти, злословия, лжи, рассеянности во время служб, сокращения молитв. Каждый из этих грехов в отдельности казался только незначительным, но вместе, при общем перечне, они портили, стирали, оскверняли душу. Сестра Мария думала, что прощительный грех можно сравнить с пылью. Ее очень трудно рассмотреть в жилищах, пока она не накопится. Только после того, как о ней забудут в течение нескольких дней, она покрывает мебель трауром из своего мелкого умершего пепла. В обыкновенных семьях, за течением жизни, детьми, всякими делами, люди мало обращают внимания на пыль. Но в Бегинаже соблюдается строгая чистота: пол всегда хорошо вымыт и красен, как сердце на изображениях Иисусова Сердца, медь на замках и задвижках блестит так, что все предметы отражаются в них; белье, скатерти в столовой, тюлевые занавески на окнах отличаются новою и чистою белизною, точно они выбелены ночью лунным светом. Все кажется новым, свежим, убранным, все на месте. Каждая келья отличается удивительною чистотою. Точно на нее снизошла благодать. Не нужно ли видеть в этом какой-нибудь символ? Совесть человеческая в Бегинаже должна была содержаться лучше, чем где-либо. Прощительный грех – это ежедневная пыль души!

Надо было одинаково стирать ее каждое утро, одерживать

победу над всеми сетями простительного греха, как в монастырях одерживают победу над сетями пыли!

Сестра Мария была несчастна. Она постоянно воображала себе, что впадала в бесконечную цепь мелких преступлений, и сомнения сейчас же охватывали ее душу: не развлекается ли она на секунду, повторяя свои молитвы в обычное время, когда начинает читать «Отче наш» и пятьдесят раз «Ave Maria».

Иногда, когда она уже ложится в постель и сон охватывает ее, она вдруг чувствует беспокойство... Хорошо ли произнесла она свою вечернюю молитву? Не было ли это машинным движением губ? Тогда она встает, опускается снова на колени возле своей постели и снова начинает молиться, иногда дрожит, если это случается зимою, когда мороз рисует узоры на окнах.

Грех чревоугодия тоже очень беспокоил ее. Каждая бегинка завтракает и ужинает на свой собственный счет, покупая сама себе еду, которую она поглощает перед шкапом в столовой, где каждая из них убирает свою посуду. Сестра Мария удовлетворялась кофе и хлебом без масла, насколько возможно мало, чтобы не находить удовольствия в этой совсем простой пище. Но обед съедался вместе, приготавлился на средства общины. В некоторые дни, в воскресные и, в особенности, в четыре больших годовых праздника, готовили хороший обед: стол украшался курами, пирогами; каждой бегинке наливали стакан турецкого вина, маслянистого золо-

того вина.

Это была большая радость в среди бегинок, которые в своем кругу веселились от этой дозволенной пищи, точно они присоединялись к христианскому веселью этого дня. После обеда языки развязывались, и они долго разговаривали с живою болтовнёю веселых голосов в маленьких садах с геранью и священной зеленью, посаженных перед кельями.

Но сестра Мария, как только кончался обед, запиралась в своей комнате, озабоченная, огорченная. Она снова вкусила удовольствие от еды.

Между тем, она обещала себе, обещала ангелу-хранителю следить за собой по отношению к греху чревоугодия. Это была более чем легкая вина, простительное упущение. Разве чревоугодие не фигурирует в числе главных грехов? Сестра Мария, очень испуганная, принималась перечислять их по порядку, как указано в катехизисе: гордость, скупость, сладострастие, зависть, чревоугодие... чревоугодие, да! один из семи главных грехов! Она заливалась слезами. Значит, это был смертный грех. Боже мой! Боже мой! Маленькая бегинка, вся красная, падала на колени. Что, если она сейчас же умрет! Тогда она попадет не только в чистилище, но в ад. Она пыталась раскаяться. Ей хотелось бы бежать в церковь исповедаться. Но в такие праздники священник не ждал исповеди. Тогда, дрожа и волнуясь еще более оттого, что она была одна в комнате, сестра Мария спускалась к своим подругам. Ей очень хотелось бы спросить кого-нибудь из них,

является ли чревоугодие, попавшее в перечень главных грехов, – смертным грехом. Но она не решалась, боясь теперь оскорбить ближнего и тем самым усилить свою вину.

Сестра Мария была несчастна. Она постоянно опускала глаза в землю, когда выходила, когда шла в город отнести заказанные кружева, даже когда была в церкви, потому что прихожане стоят вместе с бегинками, и совершенно так, как и на улицах, ее взгляд мог встретиться с взглядом мужчины. Этого она боится больше всего! Название этого греха уже заставляет ее краснеть, если она встречает его в тексте или испытывает свою совесть перед исповедью. Она только смутно понимает, что означают шестая и девятая заповеди – ужасные источники греха, куда она никогда не впадала; но инстинкт указал ей, что, смотря на мужчину, можно попасть в эти источники дурных мыслей, дурных желаний... Вот почему она избегает заботливо, почти с ужасом, того, что ведет к этому греху. Несколько месяцев тому назад она думала, что умрет от тревоги, когда заметила одного молодого человека, который каждое воскресенье становился в церкви около колонны, недалеко от ее места; он старался рассмотреть ее, нагибался, чтобы лучше увидеть ее лицо, все закутанное в складки большого белого покрывала. Каждый раз она чувствовала, что он был здесь; не потому, что смотрела на него, – она никогда не осмеливалась взглянуть в его сторону, – но потому, что чувствовала, как тень ложилась на ее покрывало, черная и холодная, как тень целой башни.

Что она сделала, чтобы возбудить в нем эту отвратительную страсть, и какое отражение возможного греха носила она на своем лице, чтобы возбудить это прилежание каждого воскресенья и это упорство в его надежде? Однажды, когда она шла по городу, желая навестить одну из своих больших подруг, она встретила этого мужчину, который, узнав ее, принялся идти за ней, в то время как она, испуганная, устремилась через улицы, набережные, мостовые в Бегинаж.

Наверное, это был сам Сатана, искушавший ее в его образе, желавший сказать ей то, что могло убить навеки лилии ее души.

Но, если она кропотливо предостерегала себя от этого искушения, ей все казалось, что на ее душу посыпалась большая пыль, точно немного отбросов пепла из адского костра. Ах, эта вечная неуловимая пыль грехов! Тем более, что в это время как раз пришлась среда на первой неделе Великого поста и вместе с нею – обычное осенение крестом, являющееся точно символом, внешним признаком состояния совести. В то же время священник за обеднею говорил проповедь на текст из священного писания: «ибо прах ты!» – и бегинке казалось, что он говорит только для нее, чтобы предупредить ее от имени Бога, уличить перед всею общиною виновницу, – точно лица всех ее подруг были запятнаны нечистотою ее души.

Это обстоятельство увеличило в ее уме значение этой встречи, придало ей нелепую серьезность, точно действи-

тельно вина тяготила ее душу, будто она одобрила эту кощунственную настойчивость молчаливым согласием своих глаз. Она, сама не зная этого, может быть, даже не подозревая, видела грех, свое искушение.

Не было ли это почти уступкою?

Ага, этот ужасный грех сладострастья, казавшийся завершением всех ее поступков, всех мыслей, всех движений... Так море в маленьком приморском городе, где она родилась, является концом всех улиц.

В особенности вечером и утром она была охвачена мыслью о грехе, точно перемежающейся лихорадкой, когда ей нужно было раздеваться, переменять белье.

Ужасная минута! Какой страх оскорбить своего ангела-хранителя, открыв ему уголок своего тела, показав ему часть своей шеи или руки! Страх – оскорбить самое себя. Ангелы были, действительно, чистыми, так как у них нет тела, а только одна голова и крылья, как на изображениях Успения в церквах. Чтобы немного приблизиться к ним, надо было забыть о своем теле, жить так, точно его нет, еще лучше – не знать его. Разумеется, святые не знали совсем своего тела. В свою очередь бегинка умудрялась хорошо скрываться в кружевах и тканях. Она закрывала глаза, когда приходилось менять их; и, как слепая, она прикасалась к своему телу с недоверием, точно каждая часть ее тела была сетями, от которых она сейчас избавлялась.

Сестра Мария была несчастна. Исповедь, которая могла

бы быть вечным лекарством сомнений, в конце концов только усиливала их.

Сколько мрачных часов, – разумеется, самых мрачных в ее жизни, – она проводила в ожидании таинства покаяния! Сначала в своем уме она искала грехов, которые могла совершить, к этому прибавлялся страх новых грехов, когда она углублялась в эти передачи, списки всех ядовитых цветов души, где могло бы остановить ее на минуту одно преступное любопытство; затем она представляла себе совершенные ею грехи, опрашивая свою совесть, взвешивая все свои желания, освещая все свои малейшие мысли, зачатки проектов, самые неуловимые и неопределенные образы, точно маленькие паутинки мельчайших, едва обрисовавшихся мечтаний. Она искала, не найдется ли скрытого во мраке какого-нибудь смертного греха, который нужно было из гнать, как демона... Во всяком случае, ее совесть была полна простительных грехов... Ах, да, эта бесконечная пыль, под видом которой показывались все ее вины, которая покрывала своим серым оттенком всю ее душу, которая делала неузнаваемым все, что когда-то украшало ее: обеты, блеск ее добродетели, лилии ее, безбрачия, кропильница ее слез, вплоть до этого зеркала ее души, где теперь стиралось присутствие Бога...

Пыль, тонкая и неумолимая, многочисленная, точно все дюны, целая цепь песчаных холмов из маленького приморского города, где она родилась, вошла в ее душу!

Считая себя греховной и падшей, она долгое время ощу-

щала тревогу. Затем она кончала тем, что решалась войти в исповедальню. Она бросалась туда, как бросаются в воду. Она дрожала от страха и стыда, считая себя в положении жалкой души, отягченной грехами сильнее, чем всякая другая бегинка. Никогда священник не слышал, вероятно, подобной исповеди. Она должна была казаться ему скрытым осквернением Общины, совсем черной овцой этого пасхального стада, которое на другой день должно было просить об облатке...

С воспаленной головой, вся красная, пряча, насколько можно, свое лицо, сестра Мария, наконец, быстро признавалась в своих ошибках. Затем священник давал ей советы. Но она, тотчас охваченная сомнениями, воображала себе, что не все сказала, скрыла свои грехи. Она вкратце повторяла их перечень, так как часто записывала их. Нет, она ничего не пропустила. Она еще искала, медлила, закидывала священника вопросами казуистики, всякими тонкостями. Тогда он, узнав ее, обрывал беседу несколькими словами утешения и давал ей отпущение грехов.

Она выходила из исповедальни, немного утешившись, счастливая на одну минуту, освеженная источником Таинства, вернувшим ей светлую душу. Но едва только она опускается на колени в церкви, повторяя молитвы покаяния, как вдруг она вспоминает подробности своей исповеди. Сказала ли она на самом деле все? Ощутила ли она настоящее раскаяние? По крайней мере – достаточное, с ненавистью к

своим грехам и с твердым решением больше не впадать в грех? Каждый раз бесконечные сомнения, душевная тревога выступала на место каждого греха, чтобы побудить этих прощенных мертвецов спросить прах, где они разлагались, заставить говорить их уста. Но эти мертвые грехи молчали. Бегинка ничего не узнавала. Волнение снова охватывало ее душу. Получила ли она прощение? Имело ли значение это отпущение грехов?

Однажды среди этих обычных беспокойств появилась более сложная и сейчас же – более определенная забота: разумеется, она все сказала с полным раскаянием; но она торопилась с перечнем грехов. Конечно, это происходило не от желания сбросить вниз свою тяжелую ношу, но с целью облегчить ее, чтобы она показалась незамеченной, ослабленной, немного неясной. Преступная уловка боязливой совести! Она захотела хитрить с Богом. Это было еще постыднее и хуже. Признаваясь во всех своих грехах, она стремилась прикрыть их совокупность, соединить их в быстро убегающее стадо, точно каждая овца не нуждалась в прощении и кресте Христа на своей шерсти. Не было ли это отчасти их прикрытием? Тогда, значит, она дурно исповедалась?

Здесь дело шло вовсе не о сомнениях, об этих иногда, может быть, преувеличенных сомнениях, о которых предупредил ее сам священник. Ее вина была очевидна...

Что станет с ней? Как предстать ей на другой день к св. Престолу, чтобы прибавить еще новое кощунство, более

гнузное, чем профанация таинства раскаяния? С другой стороны, как остаться на своем месте, когда вся община направится к чаше, где сверкает облатка? Это значило бы публично признать себя виновной и оскорбить своих благочестивых подруг... Было бы лучше – остаться в комнате и болезнь сделать предлогом. Но это была бы тягостная ложь, которая только еще больше расстроила бы ее душу...

Вечер протекал медленно, жестоко. Сестра Мария очень сильно огорчалась, приходила в отчаяние, – охваченная беспокойством до такой степени, что ощущала почти физическую боль. Минутами ей казалось, что ноша грехов становится легче. Мало-помалу приходили размышление и спокойствие. На коленях пред своей постелью, в темной комнате она молилась, повторяя молитвы покаяния, искренние и полные столь сильного горя, что этого даже было бы достаточно, по мнению богословия и священников, чтобы Бог сам простил ее. Действующая на душу тишина летней ночи, однако, проникла к ней через открытое окно. Она поднялась, подошла посмотреть на ночь; все неясные предметы в ограде мало-помалу вырисовывались: башня казалась темнее от мрака, долгий шелест тополей, похожий на шум шлюз, нарушал безмолвие. Все казалось возвышенным, более нежным. Сестра Мария умиротворялась. Она искала невидимое небо, все темное, без единой звездочки, подобно тому как она ребенком, в темные вечера, старалась увидеть море в маленьком приморском городе, где она родилась...

Небо тоже скрывалось. Небольшой ветерок пробежал по нему, как отпущение грехов; монахиня охладила свое лицо в темноте, освежающий источник которой принес ей успокоение.

Теперь она менее огорчалась. Она яснее все видела; она преувеличивала свое положение и, раздумывая, вспоминая обо всем, она не чувствовала себя более виновной, потому что не имела намерения вредить своей исповеди. Всегда эти проклятые сомнения привязывались к лучшим минутам, распространяясь сейчас же, увеличиваясь одно от другого, точно червь ее души!

У нее горело во рту. Чтобы освежить свою лихорадку, она залпом выпила стакан воды. Затем, разбитая, с утомленной душою от всех этих волнений, она бросилась на постель, быстро заснула, не подумав даже, под влиянием этого внезапного упадка сил, затворить окна... Мрак продолжал царить в ее комнате; врывался легкий ветерок, шелест тополей, неясный ночной ропот, точно дыхание уснувших предметов, наряду со звоном часов на колокольне в церкви.

В ту минуту, как бегинка засыпала, она слышала один из этих ударов единственного колокола, звонившего неизвестно какие полчаса на циферблате. Затем она впала в тяжелый сон, тщетно пытаясь уцепиться за ушедший звук...

На другой день, проснувшись, сестра Мария заторопилась. Она была счастлива, оправившись после тяжелого сна. Солнце весело смотрело над оградой на красивом, совсем

голубом небе нежного оттенка лент конгреганисток. Уже некоторые, более усердные монахини шли в церковь. Это был день общего причастия. Сестра Мария ходила по своей комнате задумчиво. Она заботливо приколотла свой головной убор, чтобы быть достойной даже по своему наряду представиться Господу. Она чувствовала себя дарохранительницей...

Она отправилась в церковь, затем, стоя на своем месте, она в последний раз проверила себя, подобно тому как ризничья бросает последний взгляд на алтарь перед приходом процессий. Но вдруг новое и еще более сильное, чем остальные, беспокойство всплыло над ее мимолетным успокоением. Она вспомнила, что выпила стакан воды в течение ночи. В котором часу? Она едва помнила. Сон одолел ее: но сейчас ли? не было ли это очень поздно? Сколько было времени, когда звонил колокол? Она искала в своей смутной памяти... Да, был один удар, после чего она сразу заснула, не сознавая ничего... Один удар, надолго поколебавший безмолвие, один удар, упавший среди тишины, точно камень, падающий в воду, на поверхности которой показываются круги. Она погрузилась в глубину этой воды... Она больше ничего не знала... Который час или полчаса пробило? Было ли это полчаса одиннадцатого? полчаса двенадцатого? Может быть, и час? В таком случае – и это больше всего пугало ее – она теперь будет приобщаться не натошак. Какая глупость – напиться воды так случайно, не отдавая себе отчета, не объ-

ясняя... Что теперь ей делать? Еще раз она просила, умоляла Бога просветить ее. Она отдалась во власть бесконечной тревоги... Как всегда, богослужение охватило ее, настолько сильно увлекло ее из лабиринта ее сомнений, что заставило действовать помимо ее воли. Обедня приближалась к причастию.

Все собравшиеся бегинки поднялись, направились к алтарю, в то время как орган распространял новые, светлые, можно сказать, вышитые псалмы, подобно покрывам св. Престола. Сестра Мария машинально пошла. Она получила, в свою очередь, облатку и, все же радуясь, поспешно проглотила ее с замирающим сердцем, испытав тотчас мучительное беспокойство при мысли, что проглотила яд Вечности, изранила своими зубами священный хлеб, где должна была раскрыться рана Христа...

Такова была в течение нескольких месяцев страдающая душевная жизнь сестры Марии.

Затем ее рассудок стал затуманиваться. Теперь ее безумие, благодаря какому-то таинственному переходу, состояло именно в том, что делало материальным ее беспокойство. Сомнения получили внешний вид. Вследствие того, что она боялась открыть даже простительные грехи, благодаря тому, что она была убеждена, что рассудочная пыль омрачает ее душу, она дошла до этой замены, начав с такою же тревогою опасаться действительной пыли. Ах! Эта пыль, сыплющаяся беспрестанно, тайная, но неумолимая, падающая как

снег, маленькими хлопьями, — пыль, которая мало-помалу меняет ее внешний вид, пачкает платье, бумажный головной убор, покрывает волосы мертвым пеплом времени, делает из нее что-то заброшенное, разрушенное. Она начинает напомирать старую, находящуюся в пренебрежении мебель жилища отсутствующего или умершего хозяина. Она присутствует теперь при неминуемом засыпании песком не своей души, сознание которой отныне погибло, а своего тела, покрываемого этой желтой пылью, являющейся символом и даже семенем Небытия.

Вот почему можно было ее видеть, бледную, безумную монахиню, подчас расправляющую на своей голове смешной бумажный убор. Иногда можно было видеть, как она беспрестанно сухими ударами своего маленького платка ударяла себя, стряхивая с себя пыль.

Цветы

Бездетные женщины в особенности любят цветы. Благодаря этому они бессознательно становятся немного матерями, интересуются чем-то хрупким, с трудом вступающим в жизнь.

Монахини тоже подвержены таинственному закону, этому перемещению инстинкта. Вот почему бегинажи так цветущи. Лужайка в центре усыпана белыми растениями, – небольшими венчиками, точно из выглаженной ткани, придающими ей вид лужайки из картины Жана Ван-Эйка «Поклонение Агнцу».

На всех окнах горшки с гераниумом, фуксией примешивают свои живые букетики к белоснежным занавескам, не поражают этим глаз, благодаря слиянию с обстановкой. Разве краска на устах у первых причастниц не соответствует тюлю их покрывала?

Но любимыми цветами общины являются менее светские цветы, скорее принадлежащие религии и алтарю, – например, лилия, из которой св. Иосиф делает себе скипетр, которую предлагает св. Деве Марии, как облатку из цветов, точно держит в руках свою собственную душу. Лилия – совсем готическая. Она похожа на бегинок!

Она тоже имеет вид цветка, посвятившего себя Богу: это не столько венчик, сколько головной убор, совсем белый,

совсем литургический. Можно подумать, что его поливают только священной водой. Цветок без пола, ангельский цветок, на который всегда нисходит благодать.

Таким образом, сами растения в бегинажах поддаются мистическим аллегориям. В маленьких садиках, перед каждой кельею послушная зелень растет в виде инициалов св. покровительниц, Иисусова Сердца, пронзенного каким-нибудь мечом из зелени.

Во время процессии в праздник Тела Господня любовь бегинок к цветам усиливается и достигает экстаза. Они обильно запасаются ими; они покупают их букетами, целыми снопами и с самой зари они начинают, чтобы увеличить их, разделять, разрывать, раздергивать лепесток за лепестком, точно корпию из цветов. Наполненные корзины, таким образом, сейчас же пустеют на пути приближающейся процессии, в кривых поворотах их обители; цветочный снег, разрисованная лавина, разноцветная манна; сестры с опьянением чувствуют, как она кружится, несется, бьет ключом на земле, разрисовывает воздух, прикасается к их лицу и рукам, окрашивает их головные уборы, наполняет благоуханием их движения...

Даже зимою они находят средство утешить себя искусственными цветами: небо помогает им в этом, поддерживая в течение сурового декабря и января на севере почти постоянно на их окнах цветы из инея, серебряные пальмы, папоротники, маргаритки, профили белых роз, – с которых, мо-

жет быть, бегинки позаимствовали узоры для кружев (этих цветов из инея!), так как они любят их до такой степени, что проводят свою жизнь, стараясь воссоздать их при помощи ниток.

Любовь к белому цвету

Каждый понедельник площадка бегинажа покрывалась белыми длинными тканями. В эти дни стирали тонкие церковные ткани, слишком дорогие для того, чтобы доверять их опасностям хлора и чужим рукам, между тем как остальное белье в общине большею частью отдавали стирать вне монастыря. Здесь были покровы для алтаря и св. Престола, из тонкого батиста, обшитые такими тонкими кружевами, что к ним надо было дотрагиваться, как к рисункам паутины; здесь на траве были уборы сестер с расправленными перегибами, не сохранившие даже и воспоминания о том, что они были головными уборами, затем стихари священников, мальчиков из хора, со складками, точно у растянутого аккордеона; наконец, небольшие священные ткани, служащие для дароносицы, сосудов, всего того, что необходимо для церковных служб.

Можно было бы подумать, что это – литургическое приданое, складываемое таким образом каждую неделю на зеленом бархатном газоне, который выделялся среди величественной белизны. Благодаря действию воздуха, голубоватая вода, которой были пропитаны ткани, испарялась, а горячее солнце объединяло их всех в абсолютную белизну.

Эта мелкая уборка белья доверялась сестрам-послушницам, а ответственные работы, полоскание, выжимание, гла-

жение исполнялись самими бегинками. Среди всех тех, на которых лежала эта обязанность, была одна молодая послушница, по имени сестра Бега, носившая имя святой, сестры Пепина, – основательницы ордена.

Никто не относился к этому более ретиво, кропотливо и внимательно, чем она, – счастливая доверенною ей обязанностью. Не только потому, что ее благочестие заставляло испытывать радость, гордое сознание, что она дотрагивается до священных предметов, которых, казалось, вода еще не вполне лишила следов употребления в церкви и где минутами она думала найти остаток ладана... Разве в общине, после того как колокол замолкнет, не слышно иногда упорствующего звука...

Разумеется, такой труд для церковных служб отчасти удовлетворял молоденькую сестру Бегу, но она чувствовала еще какое-то невольное и таинственное удовольствие от прикосновения к этому чудному белому белью, где ее пальцы блуждали, любили играть. Ей казалось почти ласкою это прикосновение к тонким тканям, батисту, более нежному, чем тело ребенка.

Иногда, после пересмотра большого количества тканей, ее охватывало какое-то оцепенение; она протягивала свои обе руки, точно по воле ветров, и готова была окунуться в них. Ее взоры, как и ее пальцы, волновались, увлекались, хотя она не понимала причины странного очарования, уже ушедшего, впрочем, далеко от нее... Она вспоминала, как она радо-

валась в детстве, когда в воскресенье утром ее мать надевала на нее чистое белье: чудное ощущение на себе этого нежного и свежего полотна! Затем, сев за стол, она замечала новую, безупречную скатерть, точно замерзшую воду бассейна, сохранившую в своем зеркале складки, созданные, конечно, движением ветра. Как надо было быть осторожной, чтобы не было пятен, хотя бы капли вина, на скатерти! Эта белизна скатертей и воскресных одежд действовала на всех; среди серых и однообразных недель этот день казался ей светлым днем, когда должны были родиться лилии и лебеди.

Она сама была точно сестрой этих девственных цветов, белоснежных птиц; и она почувствовала это еще сильнее – точно вернулась к своему рождению и природе – в день своего первого причастия. В тюлевом белом платье, в белых перчатках, шелковых белых башмаках, с молитвенником в белом слоновом переплете, в вуале, рисовавшем белыми всю жизнь и все предметы, она почти дрожала от радости, точно, наконец, над ней совершалась ее судьба. И в этот день она достигла пароксизма своей любви к белому цвету, бывшей в ее душе точно тоскою по родине или божественною болезнью...

Вот почему теперь в Бегинаже Брюгге она чувствовала себя такой счастливой, следуя своему призванию. В ее маленькой келье почти все было белое. Ее любимый цвет царил в монастыре, казалось, зарождался сам собою: стены коридора, приемной, рабочей комнаты, были вымазаны штукатур-

кой; окна были завешаны тюлевыми занавесками; на подушках для кружев точно накапливался иней ниток; что же касается красного пола, то он как бы отрекался от самого себя и терялся в мелком белом песке, которым обыкновенно посыпают во Фландрии пол, – волнообразными рисунками, подобно ручьям или дыму.

Во время службы молоденькая сестра Бега восторгалась еще сильнее, так как, по правилам Бегинажа, все монахини, идя в церковь, надевают очень суровое и длинное белое покрывало, которое привязывается к головному убору, спускается до земли, закрывая их совсем. Они идут на свои места, опускаются на колени, скрываясь под этими покрывалами. Если взглянуть с паперти на эти сотни бегинок под такими покрывалами, застывших в молитве, то можно поду мать, что это – замерзший пейзаж, полярный пейзаж, порог ледника, куда никто не заглядывает...

Сестра Бега в такие минуты приходила в экстаз, страстно молилась, волнуясь сильнее, чем когда-либо, от своей любви к белому цвету...

Вот почему она чувствовала себя такой счастливой, когда настоятельница возложила на нее обязанность следить за драгоценными тканями общины. Вот почему она выказывала себя такой заботливой, не боясь никакой усталости, стояла нагнувшись целыми часами, осторожно расправляя скатерти престола, стихари на лужайке. Какое рвение проявляла она, когда белила их, быстро убирала, если летом поднима-

лась пыль от ветра, или зимою вдруг дымила труба соседнего монастыря и капала, точно снег, сажа; какую заботливость она показывала при поливке тканей или кроплении их водою, столь же серьезно, как священник, окропляющий своих верных прихожан.

Затем на ее обязанности лежали тысячи разных мелочей: надо было подсинивать ткани, подкрахмаливать, сушить, наконец, гладить, плоить. Осторожные остановки, нежные переходы, чтобы достичь конечного отдыха для белья, осуществимого в складках.

Тогда сестра Бега убирала ткани в шкапы ризницы, что было для нее большою радостью. Впрочем это инстинктивное удовольствие, присущее всем женщинам при уборке шкапов и белья! Для этого у них, на кончиках пальцев, точно врожденное дарование, специальные нервы, более впечатлительные, какая-то чувствительность, в которой, может быть, спит инстинкт детского белья. Подобно тому, как матери додрагиваются с волнением до детского приданого, сестра Бега перебирала приданое религии. Еще немного, и она вложила бы туда саше из ириса, – точно на самом деле это есть приданое, приданое для рождения облатки!

Для сестры Беги зима была печальным временем года, так как ее дорогие ткани страдали, как овцы, которых дурная погода удерживает в овчарне. Они тоже не могут быть на лужайке, боясь ветра и бури, которые, как волк, могут унести их.

Некоторые дни удовлетворяли ее снегом, около Рождества или Сретения. Тогда она забывала о своих тканях. Точно эти райские ткани, более священные, чем ее, распространялись по всему Бегинажу. Ослепительная красота! Девственная вата! Пух от белых полетов пространства! Манна облаток на стенах, траве, деревьях, крышах... Единодушная белизна!

Даже когда голодные воробьи сцарапывали клювом или лапками девственный покров, когда местами снег таял, внезапно открывая небольшую черную рану, – неустанный ветер приносил с вязов, растущих на площадке, несколько хлопьев, которые сейчас же превращались в корпию, и снова все заволакивалось снегом.

Хотя ее любовь к белому цвету в то время возбуждалась и доходила до высшей точки, сестра Бега предпочитала нежные весенние дни, когда разостланные ткани делали Бегинаж совсем белым. Она расстилала их на лужайке, возможно ближе одну ткань к другой, чтобы вся зелень скрывалась, превращалась в серебряную лужайку, точно озаренную лунным светом.

Может быть, у нее была еще одна надежда, когда она иногда смотрела в окно своей комнаты, выходящее на лужайку. Она обращала свои взоры на стихари, скатерти для алтаря, головные уборы, покрывала, образующие на траве блестящие цветники. Она начинала вдруг мечтать, неизвестно почему, о святой Веронике, не без тайной надежды увидеть на одну минуту черты лица Христа, отразившиеся в этих ни-

тях, – это было бы для нее наградой за ее любовь к белому цвету и тканям.

Священные изображения

Бегинки обожают духовные изображения. Они прикалывают их булавками к стенам своих келий; они украшают ими стены рабочей комнаты; они вкладывают их в страницы Часовника. Есть такие изображения, фон которых сделан из серебряного кружева точно паутина, полная мелкого града. Есть разноцветные, как ризы, и белые, точно облатка. Некоторые усеяны точками, подобно каналам, когда бывает звездное небо.

Другие, на вид очень сложные, усеяны узорами, точно образуют дароносицу, развертываются, как венчики неньюфаров. Бегинки дарят их друг другу в дни праздников или при разлуке; они обмениваются этими мирными подарками, которые только допускает их обет бедности; и они надписывают наивные дружеские посвящения, которые изливаются мелким ручейком чернил и волнами дыма, пропитывающего бумагу... Кроме изображений бегинки любят также религиозные картины, какие можно встретить во множестве во всех маленьких кельях общины, взятые неизвестно откуда, полученные по завещанию, принесенные в дар семьями жертвователей, уступленные фабрикантами, – не современные картины, но древние произведения неизвестных художников, копии с картин Ван-Эйка и Мемлинга, религиозные произведения древних искренних художников, пальцы кото-

рых прикасались к изображению Бога, как пальцы священников, и которые писали, как другие молятся.

Теперь эти картины помогают бегинкам представлять себе небеса. Как без них они представили бы себе Бога Отца? Он кажется для них стариком с седою бородою, как на картинах примитивистов, подобно тому, как Христа они воображают бледным и кротким мужчиною с волосами, разделенными на прямой пробор, и рыжеватою бородою, точно едва заметная заря.

В числе этих священных картин, украшающих приемные, рабочие комнаты, встречаются еще Благовещение с архангелом Гавриилом, у которого радужные крылья, Распятие, Рождество. В особенности много Мадонн, всегда одна и та же сцена божественного кормления, причем целомудренные сестры никогда не замечают наготы груди, которую они не отделяют от лица Младенца.

Благодаря этому бегинки знают Бога, знают Христа, знают Богоматерь, святых ангелов; они могут представить их себе, думать о них, любить их, точно они жили уже возле них, точно они разлучены с ними только отъездом, изгнанием, после чего они снова встретятся с ними в Вечности, после некоторой перемены. Нежное чудо благочестивого искусства, где небо становится человеческим! Заранее полученная награда на небе!

Кроме этих божественных картин, главные монастыри общины, в особенности дом настоятельницы, хранят у себя

много древних портретов прежних бегиннок, настоятельниц, иногда доходящих далеко, до 1700 года, даже до 1600 года, в том же неизменном костюме, в одинаковом головном уборе, до тканей которого точно коснулась ржавчина времени, покрыв лунным светом его снег.

На портретах изображены бегинки, одни старые, со скрепленными руками, другие розовые, свежие, ротик которых остался как бы цветком. Иногда в углу картины помещен герб, голубой и золотой герб какой-нибудь прежней настоятельницы, которая принадлежала к аристократической семье.

Бегинки рассматривают теперь эти портреты точно изображения святых. Они избирают себе среди них покровительницу, которой молятся, к которой прибегают, которой боятся; иногда вечером, если они совершили днем какой-нибудь грех, им кажется, что глаза с портрета смотрят на них сурово, что нарисованные уста сейчас заговорят и не бранят их только потому, что не хотят нарушить великого безмолвия.

Боязнь греха

Сестра Годелива чувствовала себя очень больной и опечаленной. Накануне и во все предшествующие дни, каждый раз как она выходила, – после часовой ходьбы она испытывала в голове неприятную тяжесть: непонятная, все увеличивавшаяся головная боль придавала ей ощущение тепловатой, движущейся воды в висках.

Головной убор бегинки, окутывавший ее голову, усиливал это страдание беспрестанным биением своих крыльев от ветра. Можно было бы подумать, что какая-то птичка сжимала ей лоб, отягощала ее находившиеся в плену волосы.

Она пробовала успокоительные средства, всякие лекарства, указанные ей подругами по обители, следовала даже предписаниям доктора, посещавшего их общину. Но болезнь упорствовала; это была какая-то необыкновенная, непонятная боль, которую она не чувствовала, если оставалась в монастыре, занималась шитьем в рабочей комнате, присутствовала на службах. Только прогулка вызывала у нее каждый раз непонятную головную боль, когда ей нужно было пройти по небольшому фламандскому городу Брюгге, где она, после сиротливого детства, проведенного в духовном монастыре, вступила в обитель; она, вполне естественно, была подготовлена к этому давно, подобно тому как мальчишки из церковного хора становятся часто семинаристами.

Сестра Годелива была еще молода. Однако она чувствовала себя до такой степени уставшей, огорченной этим нездоровьем, что вновь пришедшая весна не могла внести даже небольшой части своего веселья в ее сердце в эти апрельские утра, когда солнце играло на стенах, зажигало в них перламутровые переливы.

Между тем, каким весельем дышала обитель через прозрачные стекла!

В середине находилась лужайка, стриженная и ровная.

Несколько окружавших ее тополей производили ясный шум звучной реки. По сторонам располагались небольшие кельи с их фасадами из светлого кирпича, а их окна создавали иллюзию, будто и они обновлены весною. Из труб поднимался белый дымок, разворачивавшийся лучистыми дождиками, ведущими к небесам.

Все бегинки находились под влиянием проникавшей извне радости, и часто во время отдыха раздавалась их юная болтовня, точно шум птичника, короткий смех, нанизывавший жемчуг на безмолвие длинных коридоров. Иногда в рабочей комнате они замолкали, но смех оставался точно скрытым в их глазах, несмотря на шум коклюшек на подушках для кружев.

Сестра Годелива спешила с своей работой, желая сдать клиентке, торгующей оптом, большой заказ на гипюровое покрывало для Мадонны и на ткани для алтаря. Кроме того, что она должна была получить значительную сумму, ко-

торая доставила бы ей возможность купить себе красивый давно желаемый молитвенник с рисунками на золотом фоне, ей, такой набожной, была приятна эта работа, мысль, что она создает для Бога и что произведения ее недостойных рук будут украшать святые статуи и церковные вещи.

Нагнувшись над подушкой, быстро работая, она соединяла нити, переставляла без конца стальные булавки, увеличивая постепенно развивавшуюся ткань.

Но наряду с радостью, вызванной почти окончанным трудом, ее пугала необходимость выйти, чтобы отнести кружева своей заказчице, жившей далеко, на другом краю города, в предместье, окруженном каналами.

Длинная, необходимая прогулка, которая принесет ей обычную головную боль!.. Ей уже казалось, что она чувствует заранее, как ее головной убор тяжелеет, точно птичка – еще такая маленькая и почти бестелесная – слетает, складывает свои крылья и мучительно опутывает ее лоб.

Она советовалась с доктором обители, затем с другим городским доктором, к которому направила ее настоятельница. Они называли мигрени, невралгии, но ни одно из обычных лекарств не помогло ей. Случалось, что боль утихала на короткое время, приступ отодвигался на один день, затем все возобновлялось.

Разумеется, и это был результат, если можно было на время порвать паутину, охватывавшую ее голову, увеличивавшую свое солнце из черного кружева, расширявшую свой

диск болезни. Но невидимое животное снова проявлялось на следующий день. Надо было прицелиться и убить его!

В своем маленьком темном уме сестра Годелива понимала это и добивалась этого у докторов. Однажды она подумала, что гораздо проще и вернее просить исцеления у Бога. Он, конечно, желал ей послать это испытание. Он один знал тайну и мог бы освободить ее, если бы она нашла в себе молитвы и настоящее раскаяние.

Она посетила девять служб Иисусову Сердцу; с помощью денег, полученных за последние кружева, она заплатила за свечи, подарила по обету прекрасное серебряное сердце в конгрегацию. Не было еще никакого результата, но надо было предоставить Богу принять решение и отдаться всецело во власть Его святой воли.

Тогда ей пришла в голову мысль – призвать на помощь Богородицу; она слышала об известном паломничестве в довольно близкое селение, где одна благочестивая жертвовальница воздвигла в глубине парка, возле своего замка, в честь Мадонны часовню и грот, вскоре освященные настоящим выздоровлением и чудесами.

Почему не отправиться и ей к этому священному гроту, вода которого, находясь в милости у неба, смыла бы ее болезнь и грех?

Она получила разрешение у настоятельницы обители и отправилась однажды утром в паломничество, на которое она возлагала отныне все свои надежды.

Сколько случаев, более серьезных и непонятных, чем ее болезнь, оканчивались полным исцелением!.. Почти слепые прозревали, парализтики начинали ходить...

Она тоже верила в глубине души, что Бог исцелит ее...

Накануне она исповедовалась, с трудом находя, чтобы сказать священнику несколько проступков и грехов; в конце концов плевелы ее души улетели вместе с отпущением грехов, и теперь, приближаясь к минуте своего исцеления, она могла сказать: «я непорочна!..» подобно находившейся там Мадонне...

Тотчас же по приходе в селение, где находился знаменитый грот, она отправилась в часовню прослушать обедню, приобщилась с таким возбужденным рвением, какого она не испытывала, может быть, с двенадцатилетнего возраста, со времени первого причастия, среди вуалей всех причастниц... Она обращалась к Христу, она лобызала его уста... Конечно, она снова немного почувствовала свою обычную боль... птичка становилась опять тяжелой и охватывала ее виски... Но это происходило от усталости путешествия, и Богородица окончит все это навсегда... Из часовни она направилась через парк к гроту, находившемуся среди скал, уже заметному среди деревьев. В конце моста донеслись до нее звуки громких молитв. Вокруг шумели, точно большие органы, старые деревья. Тысячи маленьких свечей блестя внутри и снаружи на кованых железных подставках, казавшихся кустарниками света. Сестра Годелива сейчас же

стала искать глазами Богородицу: это была странная статуя, очень древняя, попавшая сюда неизвестно как, с непонятным прошлым: черная голова, высвеченная из черного дерева; лицо имело вид лепного изображения на носу корабля, когда-то впервые открывшего глаза на фламандском судне, чтобы взглянуть на край моря. Драгоценные камни находились в ушах, богатое кружево покрывало лоб Мадонны, и вся она была одета в золотой плащ.

У ее ног, из отверстия в гроте, выливался чудотворный источник, беспрестанно журчащий, точно жалуясь на свою поруганную воду, точно печалась от всех человеческих страданий, дошедших до него...

Больные располагались на всех скамьях; искалеченные дети, закутанные в шали, парализованные, приведенные под руки или привезенные в креслах, – все надеялись, все ждали чуда. И для подтверждения их надежды сколько было доказательств, расположенных скорбною гирляндой по скале: костыли тех, кто вдруг получил возможность ходить, палки слепых, перевязки, бинты, ткани от ран, – все трофеи победы, одержанной над страданием!..

Сестра Годелива смотрела, умилялась добротой Богородицы, которая должна была исцелить и ее. Она молилась вслух. С ее ресниц катились слезы, сверкавшие капли которых увеличивали собою несметное количество свечей. Все паломники зажигали по свечке. Каждый смотрел на свою, следил за нею глазами, связывая с ней суеверный страх, как

бы ветер не погасил этого маленького пламени, которое казалось тоже больным и ожидающим исцеления...

Сестра Годелива, в свою очередь, поставила свечку. Она молилась, перебирая четки, стоя на коленях. Конечно, из-за волнения она страдала все сильнее и сильнее, ее голова становилась тяжелой. Птичка казалась нестерпимой.

Разумеется, это происходило от внушения, чтобы чудо выздоровления оказалось более блестящим. Сложив руки, с возбужденным взором, она, наконец, подошла к постоянно жалующейся воде, протянула стаканчик и, опустив глаза, медленно пила, точно это было вино из дароносицы или самая кровь Христа из раны, пронзенной копьем!

Сестра Годелива не исцелилась. Она утешала себя: сколько было там больных, страдающих сильнее ее, о которых Богородица должна была раньше позаботиться! Ее боль казалась легкой перед ужасными болезнями, которые она видела. Она сама почти желала просить о чуде для себя только после тех, кто больше нуждался...

Тем не менее, ее непонятная боль была ужасна и лишала ее всякой жизненной радости. Хотя и с перерывами, эта боль была для нее вечным опасением, тенью близкого врага...

Может быть, все, в сущности, было серьезнее, чем это казалось, и Бог не исцелял ее только потому, что, заботясь о ней, хотел призвать ее скорее в свой Рай.

Но дрожь охватывала ее; она не осмеливалась более показываться перед своим судьей, не потому, чтобы она совер-

шила смертельный грех, ржавчина которого могла обнаружиться на обнаженном металле ее души, но потому, что всего этого было недостаточно для ее спасения: так как на небесах воздается каждому по делам его, она должна была украсить себя добрыми делами, добродетелью с чудным ароматом лилий, чтобы сделать себе из них венец в Вечности!

Вот почему она заботилась о своем теле, источнике греха, но и орудии совершенства. Вот почему она желала жить, долго жить, – до конца человеческого возраста.

Она снова принялась за лекарства и стала посещать докторов.

Каждый из них ставил различный диагноз. Она советовалась со многими, надеясь каждый раз, переходя от одного к другому. Она была готова все отдать, пожертвовать всем скромным заработком, израсходовать все свои сбережения, но она хотела выздороветь, не чувствовать боли...

Но все же эта непонятная боль снова проявлялась, проникая, точно дурная трава, в лекарства; все сильнее и сильнее ее голова сжималась под птичкой, казавшейся свинцовой.

Бедная сестра Годелива теряла надежду. Она не имела сил выходить и оставалась по целым неделям в монастыре, забрасывая свою работу, приложив лоб к окну, смотря на обитель и на город вдаль, точно это было запретное удовольствие...

Ей рекомендовали одного специалиста, известного ученого, который наверное вылечил бы ее. Попробует ли она еще

это новое средство к спасению? Но надо было еще раз отличиться, отправиться в большой город, довольно далеко, где жил этот доктор, взять немного из своих сбережений, собранных с трудом, уменьшавшихся с ее болезнью, как свеча в течение мессы. . .

Однако она решилась; она поехала с поездом в большой указанный ей город и в час консультации отправилась к доктору, на которого она возлагала последнюю надежду. Она ждала довольно долго своей очереди в суровой комнате, куда густые занавески едва пропускали дневной свет. Легкая грусть сжимала ей грудь, точно она шла к исповеди; ее одежда казалась ей узкою, и она слышала, как бьется ее сердце. . . Ее обычная боль возобновилась от усталости и жары длинного путешествия. Что скажет ей этот доктор? Может ли он помочь ей, если сам Бог, во время ее паломничества, по-видимому, отказал ей? Может быть, это было дурно настаивать и желать во что бы то ни стало исцеления, вместо того, чтобы мужественно покориться тому, что все более и более казалось небесною волею и испытанием. . .

Вдруг дверь открылась, и показался доктор: он был высокого роста, с седыми волосами и бородой, с серьезным видом. Не говоря ни слова, он сделал ей знак следовать за ним, повел ее в другую комнату, свой рабочий кабинет. Сестра Годелива была очень смущена. Она хотела быстро назвать все симптомы своей болезни, перечислить которые она дала себе слово. Когда он обратился к ней и спросил ее коротко,

чем она больна, его тон голоса, суровый и холодный, оледенил ее.

Она просто ответила: «У меня головные боли». Затем она замолчала, смущаясь, забывая обо всем, или, вернее, не находя слов, не собравшись с мыслями перед этим взглядом статуи, не покидавшим ее.

Доктор снова заговорил так же монотонно, точно на одной меланхолической струне:

– Мы посмотрим, сестра; необходимо, чтобы я вас выслушал.

– Да... – сказала сестра Годелива.

Она оставалась сидеть и ждала. Она ответила «да» из самолюбия, от смущения. Но она не понимала этого слова: «чтобы я вас выслушал»... Она не смела обратиться к нему, спросить, по крайней мере, объяснения у этого мраморного человека, который леденил слова на ее устах.

Он поднялся и просил ее прилечь: – Прилягте здесь!

Она начала дрожать, и все ее лицо приняло вопросительное выражение.

– Да, я должен вас выслушать... Мне нужно осмотреть почки, желудок, так как головные боли могут происходить от различных причин...

Бегинка задрожала... Инстинктивно ее пальцы искали небольшое распятие, висевшее у нее на груди, как драгоценность. Пальцы сжались от волнения всего ее тела. Она понимала теперь слово: *выслушать*... Открыть в своем теле то, на

что она сама никогда не смотрела. Это был бы большой грех! Вся ее болезнь, значит, была только игрою демона, ведшего ее к этому искушению. Если бы она осмелилась, она осенила бы себя крестом. Доктор ждал... Годелива, дрожа и удивляясь, еще сильнее сжимала в своих пальцах распятие на груди.

Произошла пауза.

– Ну-с! – сказал доктор.

– Нет.

Как опытный человек, он догадался и хотел успокоить ее сомнения... Доктор – не мужчина, это духовник тела, исповедник больных...

Но сестра Годелива мало-помалу овладела собой, она побледнела, как ее покрывало, и тихо отошла к двери:

– Ах! Нет! Нет! Позвольте мне уйти!

Она точно умоляла его – как будто на самом деле не была свободна и ей угрожали – голосом бедной жертвы, которая чувствует себя на краю гибели.

Когда сестра Годелива очутилась одна на улице, она заплакала. Она была очень несчастна. Никакого исцеления! Никакой надежды! Большинство докторов не понимало ее болезни, а этот, считающийся ученым, требовал от нее дурного поступка. Он убеждал ее, что это дозволяется и что доктор имеет право смотреть на все, не оскорбляя Бога.

Все это было только уловками демона, – обычный его прием, чтобы ввести в искушение!.. Но он ничего не достигнет... она никогда не согласится...

Может быть, она умрет от этого, но необходимо было предпочесть смерть греху. Она не осмелилась никому рассказать об этом, даже настоятельнице и духовнику. У нее в глубине души остался небольшой стыд, смущение от того, чего от нее хотели, – от того, что вдруг в ее уме пронеслась мысль о тайне полов, до сих пор неизвестная ей и замкнутая в ее обете, как ее волосы – в головном уборе...

С тех пор она чувствовала себя если не менее чистой, то не такой невинной; ее душа была очень далека от тела, как листья, настолько высоко поднявшиеся на своей ветке, что они не подозревают о земле, от которой родились...

Сестра Годелива умерла от своей стыдливости. До конца своих дней она отказывалась допустить, чтобы чужие глаза и пальцы скользили по ее телу, искали верную причину ее болезни. Она медленно угасла, отстраняя ощупывание докторов, умерла мученицей этой ангельской святости.

Чистота безупречной девушки, чистота горностающая, умирающего из страха, что люди прикоснутся к его белоснежной шкурке!

В момент, когда она умирала и священник принес причастие, она беспокоилась, сознавая, что ее головной убор снят и что ее волосы рассыпаны по подушке. Это снова принесло страдание чистоте идеальной монахини, как остаток слишком обнаженной телесности...

В последние минуты она нашла в себе силы поднести руку к вискам, где чувствовалась боль, точно желала отныне при-

колоть там убор и расправить, как следует, его крылья.

Затем она громко вскрикнула: «птичка! птичка!» – и как будто после стольких страданий эта птичка спустилась с лона Бога, – теперь такая легкая, – к ней на голову, чтобы остаться там вечно, подобно самому голубю Святого Духа!

Колокола

Колокол на верху церковной башни является голосом и жизнью Бегинажа.

Однако он стар и медлителен в своей изношенной одежде из стонущей бронзы. Но он показывает себя аккуратным, деятельным; он беспрестанно прорезывает воздух своим звоном, похожим на шум ключей, точно он закрывает двери от внешних звуков... Это сестра-привратница пространства. Она провожает Время в Вечность.

Для каждого часа, который уходит навсегда, колокол бросает вслед свой холодный звон, как бы священную воду в минуту отпущения грехов.

Точно периодический дождь, звон колокола окропляет спокойных бегинок даже в их рабочих комнатах.

С другой стороны, три раза в день звонит Angelus. Колокол в черной ризе издает серьезные звуки, за которыми следуют другие звуки, октавою выше.

Можно было бы подумать, что это какой-нибудь священник повторяет для себя обедню.

Бегинки крестятся, становятся на колени, точно колокол совершает церковную службу.

Таким образом каждый день, каждый час, каждую четверть часа колокол двигается, раскачивается, говорит, вторгается в уснувшую жизнь Бегинажа, оглашает его своими

ударами, точно биением сердца общины. Какая поэтому чувствуется мучительная тревога, точно летаргия, кажущаяся смертью, когда в четверг на Страстной неделе колокол общины вдруг замолкает в одно время с его братьями – колоколами приходских церквей. Бегинаж тогда имеет вид Гроба Господня, куда бегинки, охваченные скорбью, стекаются, точно св. жены. Они теперь не имеют понятия ни о времени, ни о часе, так как церковный колокол, подобно Богу, почил, и опечаленные бегинки ждут, пока через три дня колокол, ставший неподвижным в гробнице Безмолвия, снова воскреснет!